Невольная воля

Люкшин Д.И. Коммунары поневоле: общинная революция в драматургии Второй русской смуты. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. — 214 с. ISBN: 9785000199947

В.В. Бабашкин

Владимир Валентинович Бабашкин, доктор исторических наук, профессор кафедры политико-правовых дисциплин и социальных коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 119571, Москва, проспект Вернадского, 82. E-mail: vbabashkin@ranepa.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-2-177-186

Я с неизменным интересом читаю то, что выходит из-под пера Дмитрия Ивановича Люкшина, и прислушиваюсь к его устным выступлениям на конференциях по истории родной страны. И не только потому, что привлекаемые им новые факты и данные из архивных и иных источников все более прочно вписывают его научное творчество в теоретические рамки концепций моральной экономики крестьянства и крестьянской революции в России 1902–1922 годов. Импонирует то, как он использует слово русского языка в качестве острого аналитического инструмента, оперирование которым просто обязывает к концептуальному синтезу именного такого рода. Приведу простой пример. Когда имел место явный госзаказ на либерализацию общего взгляда на российскую историю XX века, и слишком многие коллеги при описании Столыпинской реформы скоренько перешли от жестких марксистско-ленинских оценок к розово-идиллическим, В.В. Кондрашин и И.Н. Слепнёв пытались противостоять этому термином «столыпиниана»[1]. А Люкшин запечатлел эту славную историографическую загогулину хлестким словцом «столыпинофилия»[2].

Свой основной вклад в аграрную историографию он обозначает словосочетанием «общинная революция», первые представления о которой он вместе со своим руководителем и наставником В.М. Бухараевым прописал еще в публикациях 1993 и 1998 годов

1. *Кондрашин В.В., Слеппёв И.Н.* (1998). К 80-летию со дня рождения Андрея Матвеевича Анфимова // Отечественная история. № 3. С. 207.
2. *Люкшин Д.И.* (2006). Вторая русская смута: крестьянское измерение. М. С. 34.

(с. 6, 40, 120). Он сетует на то, что историки-аграрники в большинстве своем как-то не очень торопятся присоединяться к такому взгляду на смысл российских революционных событий 1917–1918 годов (с. 8). Я усматриваю тут известное диалектическое противоречие. С одной стороны, это верно: концепция крестьянской революции 1902–1922 годов воспринимается коллегами, мягко говоря, не безоговорочно. Выступая как-то на теоретическом семинаре, Кондрашин говорил о том, как мало мы знаем о работах друг друга и сколь незначительную потребность иной раз в этом испытываем. Он резюмировал: «Почему-то все забыли о результатах грандиозного проекта Данилова–Шанина о крестьянской революции в России»[3]. Я и сам столкнулся с этим в сентябре 2018 года на симпозиуме историков-аграрников, когда, сделав доклад о методологическом потенциале крестьяноведения[4], вынужден был и на самом заседании, и в кулуарах отвечать на вопросы, зачем нам все это нужно.

С другой стороны, в тексте рецензируемой монографии почти нет ссылок на результаты упомянутого грандиозного проекта. Если и кивает автор на какие-то из тех работ, то безотносительно проекта в целом, следовательно, никак не соотнося свои результаты с теми, что были достигнуты втянутыми в него исследователями. Хотя справедливости ради отмечу, что та замечательная фактура, что приводится в книге, и основанные на ней суждения и умозаключения автора прекрасным образом вписываются в концепцию крестьянской революции, подкрепляя ее в целом и разрабатывая детально некоторые важные ее аспекты. Данилов еще в 1992 году писал об «аграрных беспорядках», предшествовавших революционному взрыву 1905 года, как о начинавшейся в России крестьянской революции, «на фоне (и основе) которой развертывались все другие социальные и политические революции, включая Октябрьскую 1917 г. ...Крестьянская революция оставалась основой всего происходившего в стране и после Октября 1917 г. — до 1922 г. включительно. Аграрная революция в деревне и нежелание воевать крестьян, одетых в серые шинели, отдали власть большевикам... Крестьянская революция заставила отказаться от продовольственной разверстки, ввести нэп, признать особые интересы и права деревни»[5].

---

3. Марченя П.П., Разин С.Ю. (2013). Сталинизм и крестьянство. По итогам первого Международного круглого стола — третьего заседания теоретического семинара «Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории» // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки. М. С. 434–435.
4. Бабашкин В.В. (2018). Крестьяноведение как теоретико-методологический подход в области аграрной истории // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2018 год: Итоги и перспективы исследования аграрной истории России X–XXI вв. М.: Брянск. С. 162–174.
5. Данилов В.П. (1992). Аграрная реформа и аграрные революции в России // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. М. С. 314, 319.

Понятно и похвально стремление автора не размазывать предмет своего особого интереса — «общинную революцию» — по столь широкой исторической палитре. Похвально, поскольку дает возможность сосредоточиться на тонкостях, что он и делает вполне успешно. Но то, как это все вписывается в более широкий исторический контекст, тоже имеет значение.

По-моему мнению, употребление этого словосочетания сегодня приобретает особую важность в связи с тем обстоятельством, что часть исторического сообщества, склонная к написанию учебников к столетию событий, пришедшихся в отечественной истории на 1917 год, таки выработала формулировку: «Великая российская революция 1917 года». И учебная версия логики, в какой разворачивались главные исторические события этого года, разительно отличается от «общинной революции» Люкшина. Причем это касается всех трех линеек, которые воплотили идею единого школьного учебника истории. Уже за одно это автору «Коммунаров поневоле» низкий поклон. Его книга ставит во главу угла осмысление событийных рядов именно 1917 года уже в силу того, что, по авторскому определению, следует считать общинной революцией. «Размахивая “картонным мечом”, — пишет он, — Временное правительство само запустило механизм общинной революции, которая и стала действительной причиной краха русской армии и банкротства государственности. Запоздалые попытки государственных и общественных структур восстановить контроль над торжествующей деревней вызывали лишь раздражение и саботаж. Совпав по времени, массовое дезертирство, отлынивание отпускников и кризис администрации обернулись черным переделом, руководство которым приняли на себя вернувшиеся домой “хозяева”. Эта смена трендов, произошедшая между началом и осенью 1917 года и получившая в историографии название “общинной революции”, и опознается коллегами... в качестве “сначала резкого разрыва внутренних социальных контактов”, а потом “вновь” восстановления их “в очень жесткой структуре”» (с. 89).

Далее исследователь поясняет, почему данный термин представляется ему более удачным, нежели предложенное М.Л. Левиным еще в 1991 году в отношении деревни того времени слово «архаизация»[6], которое многим коллегам-единомышленникам кажется вполне адекватным для описания сельской реальности в 1917/18 году. А мне вспоминается, как в одном из своих устных выступлений Левин сказал, что логику событий крестьянской революции в России можно представить как многолетние упорные попытки деревни уйти в полную автономию от города и жесткие до жестокости действия со стороны последнего, не позволяющие ей это сделать. С такой точки зрения монография Люкшина об общинной револю-

6. См.: Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX веке (2015) / Под ред. В.В. Бабашкина. М. С. 270, 287–288.

ции — подробный и взволнованно-сочувственный рассказ автора о времени столетней давности, когда эта «крестьянская утопия» почти воплотилась в жизнь. Вот он напоминает читателю, насколько легко Временное правительство по ряду причин, включая доктринальные, освободилось от корпуса жандармов, департамента полиции, институтов полицейского сыска, и пишет далее: «Утратив “око государево”, правительство как бы враз ослепло, лишившись не только контроля над деревней, но и просто возможности получать и анализировать информацию о жизни большинства населения страны» (с. 121). «В результате за стремительно вестернизирующимся фасадом Петербургской квазигосударственности разворачивались спонтанные и децентрализованные процессы социального генезиса, в ходе которых либеральные интенции, переплавляясь в тигле общинных традиций, обретали форму действительно инновационных социальных институтов будущей страны “Крестьянской утопии”, по определению А.В. Чаянова» (с. 164).

В последней фразе слово «будущей» — лишнее, ибо распространив упомянутую идею Левина о сельско-городском противостоянии в крестьянской революции на время окончания Гражданской войны, а тем более — начала нэпа, мы вынуждены будем констатировать переход города в наступление и осуществление, так сказать, «общинной контрреволюции». На всякую утопию найдется своя антиутопия. По убеждению Данилова, полная победа крестьянской революции в России, ознаменованная принятием в декабре 1922 года Земельного кодекса РСФСР, который законодательно оформил общинные принципы крестьянского землевладения, стала залогом ее полного поражения[7]. Последнее ученый связывал с коллективизацией. Кажется, Люкшин обнаруживает аналогичный взгляд на это глобальное событие в истории СССР, утверждая, что ряд имманентных социально-политических качеств «не позволили российскому крестьянству сбежать от государства в страну крестьянской утопии, конкиста которой была спланирована и проведена новыми правителями России, роль которых приняли на себя большевики...» (с. 211). Я на сей счет придерживаюсь особого мнения[8], излагать которое здесь было бы не вполне уместно. Зато лишний раз озвучу здесь мысль, в которой я в последнее время все больше утверждаюсь: у каждого крестьяноведа свое крестьяноведение.

Сегодняшнее крестьяноведение Люкшина, судя по книге, это пристальное внимание к общинным институтам крестьян и стремление прочно опираться на ту аксиоматику, которая была выработана в англоязычных *Peasant Studies* еще в 60–70-е гг. прошлого

7. *Данилов В.П.* (1992). Аграрная реформа и аграрные революции в России. С. 319.
8. См.: *Бабашкин В.В., Толстов С.И.* (2016). Особенности аграрного реформирования 1930–1950-х годов // Историческая психология и социология истории. № 2. С. 216–234.

века, когда в советской историографии писать о таком было крайне затруднительно. Указывая на известные проявления эгалитаризма общинного бытия, он использует термин «этика выживания» и подчеркивает: «Легко впасть в серьезную ошибку, если романтизировать эти социальные приспособительные приемы, столь много определяющие в крестьянском хозяйстве. Они не являются радикально уравнительными и безвозмездно благотворительными, а скорее подразумевают только то, что все имеют право на жизнь на основе деревенских ресурсов, и платой за них зачастую является утрата статуса самостоятельности производителя» (с. 62–63). Методология «моральной экономики» Дж. Скотта как важнейший инструмент современного крестьяноведения дает возможность историку отточить тот взгляд на события ключевого года революции, согласно которому «основной причиной возмущения представляется не само падение уровня жизни, а моральное напряжение, вызванное противоречием между определенными поступками властей и устоявшимся крестьянским представлением о справедливости в условиях ослабления репрессивного аппарата государства» (с. 108).

Множество самых нелепых и возмутительных для крестьян поступков властей в связи с участием сельского в массе своей народа России в Мировой войне анализирует автор. Это и невероятные 15 млн селян-резервистов, окопавшихся на тыловых складах и в запасных частях (с. 88), и решение Временного правительства о «возможно широком отпуске для работ воинских команд из запасных частей» (с. 114–115). «Это ж надо было додуматься, — пишет он, намекая, что тут нужен не столько исторический, сколько психиатрический анализ, — оторвать от собственного хозяйства почти пятнадцать миллионов мужиков, чтобы потом их же силком отправлять пахать чужие наделы» (с. 115). А затем «демократическая диктатура» продемонстрировала свою полную неспособность справляться с волнами дезертиров с фронта, направлявшихся в собственные хозяйства и приносивших в родные деревни несколько скорректированные представления о том, что можно, что нельзя — даже в рамках моральной экономики. Классик *Peasant Studies* Дж. Скотт описывает такое дезертирство с фронтов войны, которую правительство крестьянской нации ведет в явном рассогласовании с интересами народа, как одно из самых грозных видов вооружения в непобедимом крестьянском арсенале «оружия слабых».

Люкшин показывает неимоверный рост мужского населения Казанской губернии в 1917 году за счет возвращавшихся с фронта солдат и описывает первые хулиганские и разбойные действия дезертиров и отпускников, направленные прежде всего на излишне разбогатевших за годы войны односельчан, включая столыпинских выделенцев. Общинные структуры, как правило, попустительствовали этому, жандармский контроль отсутствовал. «Крестьяне, — полагает исследователь, — стали подключаться к акциям бывших солдат по мере развала структур управления, когда дезер-

тиры как бы легализовались и смогли вновь включиться в структуры крестьянских общин. ...Раз уж те или иные действия не вызывали репрессивной реакции государства, они в соответствии с принципами моральной экономики считались как бы санкционированными властью. Поскольку в крестьянской среде было широко распространено убеждение, что максимы моральной экономики серьезно искажены землевладельцами и чиновниками, постольку крестьяне воспринимали все происходившее именно как санкционированную (наконец-то) Властью акцию. Причем крестьяне всерьез считали, что в своих волостях и деревнях им никто не указ» (с. 123).

Приводится много интересных примеров того, как «мужички разгромили внеобщинные хозяйственные формы» и какими нормативными соображениями они при этом руководствовались. Постановления Казанского губернского совета крестьянских депутатов от 13, 16 и 17 мая 1917 года выглядят так, как будто ни Всероссийский совет, ни Временное правительство и в самом деле «не указ» (с. 124), и сильно напоминают «Распоряжение № 3» земельного комитета Тамбовской губернии от 11 сентября, после которого стало ясно: на местах будет принята только та верховная власть, которая даст декрет «О земле». Пишет автор и о печальной судьбе тех органов власти на местах, которые, уповая на «законы общественного развития» и тешась иллюзией, что их удалось «оседлать» (с. 162), создавало питерское «демократическое» правительство. Они фактически перемалывались вековыми структурами общинного самоуправления, не в состоянии хоть как-то защитить молодую поросль «аграрного капитализма». «Натиск на хуторян и отрубников был характерен для всей Европейской России, — пишет Люкшин, — но с особой силой стремление выкорчевать столыпинские “саженцы” проявилось в Самарской, Уфимской, Саранской, Казанской и Симбирской губерниях, то есть в регионах, где община была традиционно сильна» (с. 129). В принципе это совпадает с теми выводами, к которым на основе анализа обширнейшего архивного материала приходит в ряде своих работ Г.А. Герасименко[9]. Остается только пожалеть, что Люкшин в рецензируемой монографии нигде на эти работы не ссылается.

Мне становится немного жаль, когда я подумаю, какое радостное чувство мог бы испытывать Дж. Скотт, читая в английском переводе и книги Герасименко, и «Коммунаров поневоле». Ведь в обоих случаях блестяще подтверждается концепция «моральной экономики крестьянства»; и то обстоятельство, что в первом случае исследователь к ней не обращался, означает лишь чистоту экс-

9. *Герасименко Г.А.* (1974). Низовые крестьянские организации в 1917 — первой половине 1918 г. (на материалах Нижнего Поволжья). Саратов; Герасименко Г.А. (1985). Борьба крестьян против столыпинской аграрной политики. Саратов; Герасименко Г.А. (1995). Народ и власть (1917 год). М.

перимента. А вот автор «Коммунаров» использует этот инструмент анализа сознательно и активно. Напомнив читателю о глубоко антинародном характере аграрного реформирования второй половины XIX века, оставившего крестьян не столько без земли, сколько без угодий, он формулирует вывод, под которым я готов подписаться: «Думается, что так называемые захватные акции крестьян можно интерпретировать не как “битву за землю”, а как планомерное вытеснение за пределы выживания хозяйствующих субъектов, не включенных или исключенных из структур моральной экономики» (с. 312).

Под другим умозаключением Люкшина также подпишусь, но с некоторыми существенными оговорками. «История общинной революции в России, обеспечившей в нашей стране социокультурное доминирование крестьянства, никогда не была написана не просто потому, что пролетариат стеснялся себя признать агентом мелкой буржуазии, — пишет он, — но и в силу того, что категориальный аппарат и способ мышления современников этого исторического феномена не позволял за наглыми мордами мешочников и сытыми ухмылками каннибалов разглядеть либретто российской исторической драмы первой четверти XX века» (с. 37). «Никогда не была написана» — это в данном случае неверное словоупотребление. Какие-то вещи (иной раз весьма масштабные) по этой истории были написаны. Один «Тихий Дон» чего стоит! Да и исследовательское творчество упомянутых выше Г.А. Герасименко, В.П. Данилова, Т. Шанина[10] уж никак тут не сбросить со счетов. Я бы сказал, что мы просто обречены писать эту историю всю жизнь, все более осознанно и добросовестно. Уместно вспомнить, что еще великий Маркс в письме к Вере Засулич настоятельно рекомендовал русским революционерам не впадать в восторг неофитов от западных политэкономических теорий, но изучать общину с целью понять саму суть прошлого, настоящего и будущего своей страны[11]. Можно также вспомнить, что о крестьянском будущем страны пророчески говорил великий историк С.Ф. Платонов, к чему сам Люкшин неоднократно обращается (с. 10, 37, 210).

Но я, кажется, понимаю, что имеется в виду под этим «не была написана». Скорее, это недоумение, почему нас так долго кормили нелепой легендой о Великой Октябрьской социалистической революции, которая якобы подтвердила законы общественного развития, описанные в марксизме-ленинизме, вместо того чтобы более или менее адекватно показать, что на самом деле происходило. В свойственной автору манере одну из версий ответа он упаковы-

10. См., в частности: *Шанин Т.* (1997). Революция как момент истины. Россия 1905–1907 — 1917–1922 гг. М.

11. См.: Shanin T. (ed.) Late Marx and the Russian Road. New York, 1983. P. 97–126; *Маркс К.* Письмо В.И. Засулич // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 250–251.

вает в словосочетание «логократический режим», от которого веет каким-то прямо нейролингвистическим программированием. Подтверждение этому он усматривает в том, как все поплыло в советской политической системе, как только в хрущёвскую «оттепель» ослаб доктринальный пресс «Краткого курса», и многие интеллектуалы вознамерились «очистить Ленина от Сталина» (с. 38–39). К догматам веры пришлось срочно возвращаться, а там все подогнано кирпичик к кирпичику, и ни для какой «общинной революции» места нет. Думаю, неплохим подтверждением, что все было именно так, является судьба «нового направления» в советской историографии, представители которого пытались поставить под сомнение существование аграрного капитализма в российской истории[12]. Таковой играл слишком важную роль в этой догматике, чтобы можно было позволить себе усомниться.

Самое интересное, что советская версия отечественной истории с ее революционным прорывом в наиболее передовой общественный строй, способный всем странам мира показать, как надо жить, парадоксальным образом резонирует с особенностями крестьянского общинного мироощущения с его жесткой гранью по линии «мы — они»[13]. Поэтому на месте автора «Коммунаров» я бы не торопился полемизировать с академиком Платоновым, утверждая, что рурализация России в XX веке произошла «“обратным порядком”, через уничтожение собственно крестьянского класса» (с. 210).

Наконец, я бы не был столь настойчив в утверждении, что с помощью «концепта “общинной революции” ...удалось *непротиворечиво* истолковать поведение общинного крестьянства Казанской губернии в социально-политических коллизиях начала XX века» (с. 2) [курсив мой. — В.Б.]. Я насчитал еще пять случаев заявления о непротиворечивости содержания рецензируемой книги (с. 8, 33, 35, 65, 92). Но это не соответствует заявлению о том, что само словосочетание «общинная революция» — не что иное, как оксюморон (с. 177, 188). Не соглашусь. В определении крестьянства, которое сформулировал Т. Шанин, к чьему авторитету Люкшин в данном случае апеллирует, община занимает настолько важное место, что в известном смысле понятия «крестьянин» и «община» можно считать синонимичными[14]. Однако и термин «крестьянская революция», как мы говорили выше,

12. См.: *Анфимов А.М.* (2002). П.А. Столыпин и российское крестьянство. М. С. 186–232.
13. См.: *Бабашкин В.В.* (1995). Крестьянский менталитет: наследие России царской в России коммунистической // Общественные науки и современность. № 3. С. 107–108.
14. Хотя либерально мыслящие исследователи аграрных цивилизаций с этим категорически не согласны — см.: *Бабашкин В.В.* (2018). «...Жить единым человечьим общежитьем», или Теория общины // Крестьяноведение. Т. 3. № 2. С. 179–187.

с огромным трудом втискивается в современную российскую историографию. Дело в том, что крестьянская революция консервативна по определению. Вот уж где оксюморон-то: консервативная революция. Что-то не стыкуется с «локомотивами истории». Но на то и крестьяноведение, чтобы вносить сумятицу в догматику теоретических вариаций на тему прогресса. Такое определение крестьянской революции можно почерпнуть из работы Э. Хобсбаума «Крестьяне и политика»[15] или из известной специалистам монографии Э. Вульфа «Крестьянские войны XX века»[16]. Кстати сказать, в обоих случаях представители западных *Peasant Studies* должны были обобщать какие-то аналогичные событийные ряды в новейшей истории разных стран, а это входит в методологическое *противоречие* с утверждением Люкшина, что «конец 1917 — начало 1918 годов — уникальный момент не только в российской, но и в мировой истории» (с. 177, 188).

Крестьяноведение вообще противоречиво — подобно хрестоматийному двоедушию своего главного объекта — крестьянина. Я рад, что крестьяноведение Люкшина столь во многом совпадает с моим собственным. И далеко не все важные моменты, вызвавшие у меня ощущение правды и справедливости при чтении «Коммунаров поневоле», удалось отметить выше. Но об одном все же не умолчу. Пытался понять, что заложил автор в название книги. Кажется, понял и отреагировал заголовком этой рецензии. В заключении Люкшин пишет, что крестьянско-большевистского симбиоза никогда не было; «малопродуктивной представляется и гипотеза о совпадении (хотя бы и временном) интересов коммуны и общины» (с. 208). А мне гипотеза об этом совпадении, причем вполне долговременном, представляется не просто продуктивной, но помогающей раскрыть глубинные смыслы генезиса советского общества на протяжении как минимум всего истекшего столетия, а как максимум — и на длительную историческую перспективу. Прилагательное «невольная» в русском языке чаще всего означает нечто неожиданное для себя самого. Именно так, невольно, согласно описаниям Э. Хобсбаума и Э. Вульфа, народы в странах, где разворачивалась крестьянская революция, оказывались в совершенно новой общественной ситуации (революция ведь). Остается лишь пояснить, почему для обозначения такой ситуации я использовал слово «воля» — не для красного ли словца? Это слово обладает в нашем языке такой мощью, что предпочитаю поставить здесь многоточие, оставляя простор для дальнейшей дискуссии...

15. *Hobsbawm E.J.* (1973). Peasants and Politics // The Journal of Peasant Studies. October. Vol. 1. No. 1. P. 3-22.
16. *Wolf E.R.* (1971). Peasant Wars of the Twentieth Century. L.

Unwitting will
Book Review: Lyukshin D.I. (2017) Unwitting Communards: The Communal Revolution in the Drama of the Second Russian Discord. Kazan: Kazan University Publishing House, 214 p.

Vladimir V. Babashkin, DSc (History), Professor, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 115571, Moscow, Vernadskogo Prosp., 82. E-mail: vbabashkin@ranepa.ru